

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



М. Горький

**РАССКАЗЫ
И СКАЗКИ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Максим Горький
Рассказы и сказки

Издательство «Детская литература»

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Горький М.

Рассказы и сказки / М. Горький — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-004627-8

В книгу великого русского писателя XX века М. Горького вошли его ранние романтические рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Сказки об Италии» и другие. Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-004627-8

© Горький М.
© Издательство «Детская литература»

Содержание

Превосходная должность – быть на земле человеком	6
Рассказы и сказки	15
Макар Чудра	16
Старуха Изергиль	24
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Максим Горький
(Пешков Алексей Максимович)
Рассказы и сказки

© Карпов А. С., вступительная статья, комментарии, 2003

© Дурасов Л. П., гравюры, 2003

© Оформление серии, состав. Издательство «Детская литература», 2003

Превосходная должность – быть на земле человеком



М. Горький.

1868–1936

В тифлисской газете «Кавказ» 12 сентября 1892 года появился рассказ «Макар Чудра». Имя его автора, М. Горького, ранее читателю не встречалось. И немудрено: появился новый писатель, очень скоро заставивший заговорить о себе всю читающую Россию. И не только Россию.

Необычным был уже псевдоним, избранный начинающим писателем совсем не случайно. О том, как были прожиты им годы, предшествовавшие появлению его первого произведения, он расскажет позже в замечательной автобиографической трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты». Судьба была на редкость неблагоприятна к ее герою: раннее сиротство, жизнь в доме обладавшего суровым нравом деда, скоро вытолкнувшего внука «в люди», непосильно тяжкая работа, позволяющая жить лишь впроголодь, непрестанные странствия по Руси в поисках хлеба насущного, но еще – воздействие далеко не сразу осознанного желания увидеть мир, встретиться с новыми людьми. И вот что поразительно: рассказывая о «свинцовых мерзостях» жизни, писатель особенно внимателен к тому светлому и радостному, с чем доводилось встречаться.

О себе, делавшем первые шаги в жизни, он скажет так: «Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильной жалостью ко всем, а также к себе самому. <...> Другой, крещенный святым духом честных и мудрых книг... напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой». Примечательно это обращение юного героя трилогии к книгам – в них находит он опору силе сопротивления, что растет в нем. А еще – в сердечных, добрых, интересных людях, с которыми так часто сводила его судьба. И как горько было оттого, что нередко жизнь слишком жестоко обходилась с ними.

Рассказом «Макар Чудра» в литературу входил писатель, которому было что рассказать людям. И удивительно, что он, кого жизнь трепала поистине нещадно, начал на столь высокой романтической ноте – историей любви, оказывающейся гибельной для влюбленных. Разворачивается же эта история – а лучше сказать, легенда – почти на сказочно прекрасном фоне: степная ширь, говор морской волны, плывущая по степи музыка – от нее «кровь загоралась в жилах...». Здесь живут красивые, сильные люди, которые превыше всего ценят волю, презирая тех, кто живет, сбившись в кучу, в душных городах.

В центре горьковского рассказа оказывается старый чабан Макар Чудра, убеждающий своего собеседника в том, что лучшая для человека доля – быть бродягой на земле: «Ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай – вот и все!» Согласиться с этим невозможно, но и возражать тому, кто видит в человеке лишь раба («как только родился, всю жизнь раб, и все тут!»), трудно. Трудно потому, что и в самом деле жизнь людей, о которых с таким презрением говорит Макар Чудра, лишена смысла, их труд не одухотворен высокой целью: они не способны видеть, ощущать красоту жизни, природы.

Так открывается существенный в творчестве Горького мотив – убежденность в том, что жизнь прекрасна, соединяется у него с осознанием рабской приниженности человека, чаще всего об этом и не подозревающего. Старый чабан Макар Чудра по-своему прав, да только это правда человека, отвергнувшего жизнь, которой живет большинство людей, и труд, а без него, уверен автор рассказа, человеческое существование вовсе теряет смысл. Примирить две эти правды писатель не может, да и не хочет – он предпочитает логике поэзию. Легенда о красавице Радде и удалом Лойке Зобаре позволяет не только поразиться силе страсти, неведомой «сбившимся в кучу» людям, но также ощутить, какой трагедией может обернуться абсолютная неспособность человека покоряться кому бы то ни было. Даже в любви! Кто возьмется осудить

их? Да только нет и им счастья на земле: больше всего любит гордая Радда волю, и любовь эта оборачивается для нее гибелью.

Но недаром вспомнил старый солдат Данило имя Кошута, героя венгерской революции 1848 года, с которым он воевал вместе, – многозначительный эпизод в жизни одного из представителей кочевого цыганского племени. А ведь Данило – отец гордой Радды, не от него ли перенявшей свое свободолюбие.

Рабьей приниженности автор «Макара Чудры» не приемлет, но и следовать советам героя рассказа не хочет: воля, которую так высоко ценит старый цыган, на поверку оказывается иллюзорной и ведет человека к обособленности от других. И все же люди именно этой породы – вольные, гордые, бездомные – оказываются в центре внимания молодого писателя, который ищет – и не находит! – подлинных героев среди, так сказать, нормальных, обычных людей. А без героев – жизнь утомительно тосклива, подобна стоячему болоту. И он внимательно всматривается в тех, кто «выламывается» из обычной жизни, теряет внутреннее равновесие: в них, в их облике и поведении отчетливо ощутимо всеобщее неблагополучие, разломы и трещины, все чаще обнаруживающиеся в самой действительности.

Прошагав сотни километров по Руси, Горький, как, может быть, никто другой, знал жизнь социальных низов, хранил в своей памяти неисчислимое количество эпизодов, событий, людских судеб. Ему нужно было обо всем этом поведать читателю. Но бытописателем, дотошно воспроизводящим детали, подробности жизни, он не стал. А когда брался за это, из-под его пера выходила, например, «Ярмарка в Голтве», поражающая ослепительной яркостью красок, удивительно сочной выразительностью словесного рисунка, умением воспроизвести поистине игровую обстановку, весело царящую на этом торжище. Здесь не просто продают и покупают – здесь у каждого персонажа своя роль, которую он играет с видимым удовольствием, обильно уснащая речь не руганью, а мягким юмором, щедро украшающим речь. Смешение русского и украинского говоров не мешает ни тем, кто яростно торгуется на ярмарке, ни читателю.

Льется пестрый, красочный поток, каждый из персонажей: остробородый ярославец с его нехитрым галантерейным товаром, цыган, ловко сбывающий растерянному наивному селянину беззубую коняку, бойкие «жінки», торгующие «каким-то розовым питьем, вишнями и таранью», – на миг появившись на страницах рассказа, исчезают, оставляя ощущение радостного действия, что кипит-бушует на высоком берегу Пела. А вокруг «хутора, в рамках из тополей и верб, – всюду, куда ни взглянешь... густо засеяна людьми благодатная земля Украины!».

Но ограничиваться такой живописью словом Горький не хотел. Писатель верил в высокое предназначение человека и именно ради этого брался за перо. Понятно, почему это стремление так часто вело его к тому, что изображению жизни, ежедневно открывающейся взору читателя, писатель нередко предпочитал ту, которая порождалась его воображением. Он выводил на страницах своих первых книг людей ярких, способных на поступки смелые и даже героические. Таков его Челкаш в одноименном рассказе – босяк, «заядлый пьяница и ловкий смелый вор». Одна из его «операций» и послужила сюжетной основой рассказа. Но вот что любопытно: писатель откровенно любит своего героя – его сходством «с степным ястребом», ловкостью, силой, даже его любовью к морю, способностью никогда не пресыщаться «созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной». Стихия бушует в душе человека, способного быть и жестоким, и безрассудно щедрым, насмешливо улыбаться и смеяться «дробным едким смехом, зло оскаливая зубы».

«А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин...» – говорит Челкаш молодому крестьянскому парню Гавриле, ради денег отправившемуся вместе с ним на крайне рискованное «дело». Воспоминания о когда-то тоже испытанных им «радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался», поднимаются при встрече с Гаврилой в душе «вора, гуляки, оторванного от всего родного». Противопоставляются два эти персонажа резко: Гаврила, способный ради денег целовать сапоги удачливого вора, и Челкаш, знающий, что он

«никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя». Широта души его обнаруживается с особой силой, когда он отдает Гавриле, который едва не убил его, почти все деньги, вырученные за украденное во время ночного «подвига».

И рассуждать тут, казалось бы, не о чем: Челкаш, бросивший Гавриле деньги, «почувствовал себя почти героем», а тот в ответ издавал «радостные вопли», лицо его искажалось «восторгом жадности». Оценки весьма выразительные, но вполне ли они справедливы? Безусловно, по воле автора симпатии читателя отдаются Челкашу. Ну а Гаврила с его добродушной наивностью, с его мечтой о собственном хозяйстве, о доме и семье, о том, чтобы стать «совсем свободным, сам по себе», «прилепленный навсегда к земле потом многих поколений» – он-то чем заслужил немилость читателя? Жадностью, способной помрачить его разум? Так ведь она пробуждается в нем, когда он видит пачку денег, «вырученных» в одну ночь и предназначенных для того, чтобы пустить их «на ветер». Это стон души человека, который очень хотел заработать честным путем – ходил косить на Кубань: «Косили версту – выкосили грош. Плохи дела-то!»

Фигура Челкаша романтизирована, и немалую роль в этом играет то обстоятельство, что рядом с ним появляется намеренно сниженный образ доверчивого и добродушного парня, заслуживающего не осуждения, а жалости. Жестокий поступок – камень, брошенный в голову Челкаша, – выражение крайнего отчаяния, совсем помутившего его разум. Но и Челкаш, в облике и поведении которого все время подчеркивается хищность, в герои явно не годится. Однако Горький отдает роль героя человеку, выбивающемуся из общего ряда, заставляя читателя поверить в превосходство своего героя над толпой мелких людишек, «рваных, потных, отупевших от усталости, шума и зноя». «Созданное ими поработило и обезличило их».

Желание изобразить того, в ком идеал человека, героя воплотился бы открыто, полно, не оставляет молодого писателя. Ни погруженные в свои ежедневные заботы люди, ни те, кто обычной жизни предпочли гордое одиночество, бродяжничество, этой роли тоже не соответствовали. Для воплощения идеала более всего подходил жанр легенды, сказки, песни, который охотно используется Горьким. Эти жанры давали возможность пренебречь подробностями обыденной жизни, создать мир и человека в нем таким, каким он *должен быть*, отмечая столь частые в устах читателя упреки в том, что *так в жизни не бывает*. Но в легенде (сказке, песне) и повествуется о том, что было когда-то и должно быть, а порукой тому – яркость, красочность открывающегося здесь мира, поразительные сила и красота живущих в нем людей.

И первым в этом ряду должно быть названо имя смельчака Данко. Вырванным из собственной груди сердцем он осветил вконец отчаявшимся людям путь из тьмы, угрожавшей «чем-то страшным, темным и холодным», в мир, омытый «морем солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем».

Рассказывает эту «красивую сказку» старуха Изергиль, много пожившая и повидавшая на своем веку и сокрушающаяся, что окружающие ее люди не живут, а лишь примериваются к жизни, а «когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу». Можно понять старую женщину, которую уже «время согнуло пополам», чьи «черные когда-то глаза были тусклы и слезились», для нее действительно в прошлом осталось время, когда «больше в человеке было силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше». Да только как не заметить, что в ее рассказах об этой – лучшей – жизни, прожитой, по ее же словам, «жадно», речь идет лишь о страсти: безумной, опьяняющей, толкающей на безрассудные поступки и всегда приносящей несчастье и самой Изергиль, и ее многочисленным возлюбленным. На судьбу тут сетовать не приходится – свою судьбу Изергиль выбрала сама, легко расставаясь с теми, кого вчера еще любила. Бурной была жизнь старухи: бедность сменялась богатством, любовники возникали, порою насмерть бились за нее и исчезали бесследно. Сердце ее вспыхивало часто, но так и не было отдано никому. Вот почему на склоне дней, вспоминая о горячих ночах и страстных лас-

ках, она даже и не пытается припомнить, кого сделала счастливым, чью жизнь смогла наполнить.

Жизнь сложна, она открывается разными своими сторонами. Горький был убежден, что понять ее смысл, достойно прожить на земле отпущенное ему время может лишь человек, живущий вместе с людьми и ради них.

Старухе Изергиль эта мудрость оказалась недоступной, но она была естественной для Данко. «Молодой красавец. Красивые – всегда смелы», – говорит о нем Изергиль. Да и люди, которых он собрался вести за собой, «увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня». Но они же потом, утомленные долгой и трудной дорогой, уstraшенные грянувшей грозой, обратились к ведущему их Данко со словами: «Ты ничтожный и вредный человек для нас!», а один из них, названный «осторожным», увидевший рядом с трупом Данко его смелое сердце, «боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...».

Рассказывая легенду о смельчаке Данко, писатель находит слова, способные передать красоту подвига, мощь человека, который ценою своей жизни выводит людей из мрака к свету. Деревья в старом лесу простирают «корявые длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей», «от ядовитого дыхания болота» умирают люди. Тем прекраснее – по контрасту – мир, открывающийся взору тех, кто устремился за Данко, высоко держащим горящее сердце: «Сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя, и золотом сверкала река». Но стоит напомнить: сердце Данко «пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца» – вот почему даже гроза отступает, продолжая бушевать над «плотным и немым», но теперь оставшимся позади и потому уже нестрашным лесом.

Старуха Изергиль рассказала еще одну «сказку» – о Ларре, сыне орла и женщины, который «считал себя первым на земле» и потому был убежден в своем праве осуществлять любые свои желания. Наказанием ему стало бессмертие: «Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей...»

Не о гордости, а о гордыне идет речь. Две легенды и история старой Изергиль вместе дают яркое представление о том, каким видит (точнее, хочет видеть) человека Горький. Позже писатель вложит в уста Сатина, одного из персонажей своей пьесы «На дне», слова: «Человек! Это великолепно! Это звучит... гордо! Надо уважать человека!» О том, сколь жестока по отношению к человеку жизнь, как беспричинно жестоки могут быть друг к другу люди, писатель знал лучше многих других. В его рассказе «Встряска» маленький Мишка, вернувшийся из цирка, где он был поражен веселым искусством клоуна, вновь попадает в мрачную обстановку мастерской, где угрюмо копошатся озлобленные люди. И в довершение всего за крохотную провинность он будет наказан нестерпимой болью от «встряски», но еще более – смехом работавших в мастерской. «Боль и горечь» – вот что испытывает мальчишка, обреченный за кусок хлеба весь день работать в «темной и грязной мастерской» и засыпать, помня о том, что утром его, как всегда, разбудят пинком.

Автобиографические повести «Детство» и «В людях» позволяют утверждать, что выпавшие на долю Мишки боль и унижения довелось испытать не раз и самому писателю, потому что так велико его чувство сострадания к забитому маленькому человеку. Но Горький всегда ненавидел страдания, жалобе предпочитал протест, желание сопротивляться ударам судьбы. Герой рассказа «Встряска», пожалуй, еще слишком мал, чтобы ощутить в себе такое желание, но автор рассказа вовсе не зовет к смирению. Он не делает из Мишки бунтаря, а просто дает ему возможность встретиться с другой – яркой, радостной – жизнью. Пусть это всего лишь цирк, да и вообще краткое по времени зрелище. Но ведь есть она, какая-то иная жизнь, где люди способны доставлять радость другим. Сказать больше в коротком рассказе – значило бы нарушить правду, но автор невеселой истории твердит все о том же: человек создан для счастья и отвратительно бессмысленна жизнь тех, кто злобно наступает на крылья этому счастью.

Сказка и быль у Горького идут рука об руку. История Изергиль, доживающей свою жизнь, позволяет лучше понять рассказанные ею столь значительные по своему смыслу сказки. «Песня о Соколе» обрамлена короткими главками, где перед глазами читателя встает море, «лениво вздыхающее у берега», горы, «одетые теплой и ласковой мглой южной ночи»; «по темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения». И сама «Песня» рассказана «унылым речитативом» старым крымским чабаном Надыром-Рагимом-оглы, «сухим и мудрым стариком, способным одухотворять волны».

Слова «безумство храбрых» произнесены стариком и оттого обретают особый смысл: проживший долгую и конечно же нелегкую жизнь Рагим уже исполнил «дело жизни», но откажется видеть в поступке Сокола желание скрыть «свою негодность» для такого дела.

Подчеркнуто резко сталкиваются в «Песне о Соколе» два представления о том, что позволяет наполнить жизнь истинно достойным содержанием – наслаждение близостью неба, «счастьем битвы» или желание спокойно полеживать там, где «тепло и сыро». Пафосу Сокола, убежденно сказавшего: «Я славно пожил! Я знаю счастье!», противостоит унылая «правда» Ужа, для которого небо пусто: «Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу».

В «Песне» два персонажа, но в название ее писатель вынес лишь имя одного из них – Сокола. Это о нем сказаны самые значительные здесь слова: «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» И слагает Горький именно *песню*. Ритмизованная проза, подчеркнутая необычность обстановки действия, яркость красок – все служит утверждению мысли о заразительной силе подвига, о бессмертии сильного духом Сокола, чье имя навсегда останется звучать «призывом гордым к свободе, к свету!». А написанная несколько позже «Песня о Буревестнике» и вовсе плод вольной «фантазии»: вдохновенный «чижик», распеваящий эту песню, остался за текстом – в нем нет нужды. Вот где с особой силой сказалось владевшее писателем страстное желание своим словом возбуждать в читателе волю к действию, к борьбе, уверенность в том, что «не скроют тучи солнца – нет, не скроют!».

«Песня о Буревестнике» вскоре после своего появления обрела необычайную популярность: «жажда бури», «уверенность в победе» – вот что восторженно принимал читатель в «гордом Буревестнике». Это отвечало настроению, которое господствовало в русском обществе на рубеже XIX–XX веков, чреватом резкими переменами, разломами. Как горячо воспринималось тогда предчувствие, выраженное в словах: «Скоро грянет буря!» «Пророком победы» назвал писатель Буревестника, что «реет смело и свободно над седым от пены морем!». Но таким пророком воспринимался сам автор «Песни». Ее пафос, сформулированный словами – «сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе», – был особенно понятен в ту поистине предгрозовую эпоху. Жалобам, нытью, так распространенному в среде слабых духом, Горький противопоставляет «наслажденье битвой жизни». Сомнений в том, каким окажется исход этой битвы, у писателя не было.

В 1906 году Горькому пришлось покинуть Россию: ему, активному участнику политической борьбы, которая в декабре 1905 года вылилась в вооруженное восстание в Москве, грозил арест и тюремное заключение. После недолгого пребывания в Америке он избрал местом своего изгнания Италию, где прожил до 1913 года, когда была объявлена амнистия тем, кто обвинялся в политических преступлениях. В 1921 году страдавший легочным заболеванием писатель вновь приезжает в эти столь полюбившиеся ему края с их целительным климатом. Лишь в 1933 году Горький окончательно вернулся в Россию, связи с которой никогда не прерывал.

Италия не стала для него второй родиной, но навсегда вошла в его сердце, и наиболее яркое свидетельство тому – замечательные «Сказки об Италии», где открывается мир, наполненный радостью и светом; где появляются красивые и гордые люди, жизнь которых поистине овеяна поэзией; где бушуют страсти и светятся улыбки, а надо всем этим сияет ослепительное солнце и так часто открывается взору всегда ласковое теплое море. Но и в людской толпе,

предстоящей на горьковских страницах, выделяется Пепе, десятилетний мальчишка, «хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица». Удивительно обаятелен этот маленький, никогда не унывающий оборванец, подлинно – дитя улицы, где для него все свое, все понятно. Русский писатель смог точно передать особенности итальянского национального характера, в котором ненапускная гордость уживается с веселым нравом, а житейская мудрость находит выражение в словах простых и метких. Стоит особо сказать о способности маленького героя горьковской сказки, удивляющегося тому, что кто-то может есть каждый день, – его способности радоваться жизни, подолгу разглядывать прихотливо вьющиеся по камням трещины или смотреть на цветы, «будто вслушиваясь в тихий трепет шелковых лепестков под дыханием морского ветра». И при этом «он что-то мурлычет тихонько – всегда поет».

«Сказки об Италии» написаны человеком, влюбленным в жизнь, и маленький Пепе оказывается ее воплощением. Точнее, воплощением поэзии, буквально разлитой в воздухе. Ею пропитано все, открывающееся взору. «Пепе будет нашим поэтом», – говорят о мальчишке те, «кто подобрей». И это вовсе не значит, что он обязательно будет писать стихи. Просто он из тех, кем красна жизнь. Будет! Если не сегодня, когда он живет, сохраняя простосердечную наивность и доброжелательность, что вовсе не всем по душе, то непременно в будущем. Писатель верит в это. Ведь его герою всего лишь десять лет: ему и его товарищам-сверстникам жить завтра. А как говорит «мудрый и всеми почитаемый» старик Пасквалино, «дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!».

В «Сказках об Италии» нашла выражение заветная мечта Горького о сильном, прекрасном человеке, способном делать жизнь краше, лучше, чище, способном быть счастливым и одаривать счастьем живущих рядом с ним. Вот почему так любовно всматривается писатель в мальчишку, живущего радостно, глядящего на жизнь широко раскрытыми глазами. За ним – завтрашний день. Горький пишет именно сказку и потому свободен от необходимости выписывать подробности обыденной жизни, которые порою весьма неприглядны. Писатель славит жизнь, и громким пафосом наполняются его строки там, где возникает образ Матери, «неиссякаемого источника все побеждающей жизни!». Страшной разрушительной силе, которую воплощает в себе «железный Тимур-ленг», заливший землю «красными реками крови», противостоит в одной из сказок безвестная женщина, разыскивающая своего сына. Жестокий и всевластный Тимур склоняет голову перед нею, перед Матерью: «Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, – вот что насыщает нас любовью к жизни!» И в другой сказке возникает Мать, но страшна будет ее участь: она вонзает нож в сердце своего единственного, горячо любимого сына, возглавившего полчища врагов, которые осадили его родной город, сея смерть.

Две посвященные Матери сказки подлинно героичны: поразительно бесстрашной была женщина, что предстала перед грозным Тимуром, еще сильнее духом оказалась та, что пожертвовала сыном, грозившим гибелью людям, среди которых он вырос. В обеих сказках господствует высокая, пафосная речь, ее персонажи не разговаривают – они вещают, говорят лишь о самом главном: о смысле и цели жизни. «Мать – всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матери» – вот слова, объясняющие страшную решимость той, что «сделала для родины все, что могла», и ушла вслед за сыном. Он «отрицал смысл ее жизни», а без него жизни для нее не было.

«Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих!» – сказано в первой из этих сказок. И еще сказано здесь: «...вся гордость мира от Матерей!» Замечательные слова! Их следовало бы запомнить всем живущим на земле.

В сказках, в легендах, которые так часто встречаются у Горького, масштабы изображаемой писателем действительности укрупняются, образы вырастают до символов, воплощая и в то же время концентрируя, возводя в чрезвычайно высокую степень свойства, присущие

людям. Таковы Данко, Сокол и Буревестник, такова Мать. Но и факты, почерпнутые из обычной жизни, нередко обретают поистине символический смысл. Один из эпизодов невыносимо тяжелой жизни рабочих крендельной мастерской (а писателю и самому довелось в молодости поработать в одной из них) воссоздан в рассказе «Двадцать шесть и одна». Но Горький определил жанр своего сочинения иначе – для него это поэма. Здесь речь не о рядовом случае, а о событии значительном, оставившем заметный след в жизни персонажей. Судить шестнадцатилетнюю горничную Таню за ее поступок, не вполне соответствующий представлениям о нравственных нормах, читатель, пожалуй, не вправе. Иное дело – крендельщицы. Задавленные работой, живя «тяжело и тошно», огрубев душой, они воспринимали девушку как нечто замечательное им солнце; они любили ее – «этим все сказано». Она олицетворяла для них радость, чистоту, которые обязательно должны быть в жизни – пусть и не в их собственной. Таня являлась для них неким божком, идолом, которому они по-своему радостно поклонялись. Но роли этой она выдерживать до конца не захотела: последний лучик света, врывающийся в «сырой подвал», в «каменную коробку под низким и тяжелым потолком», погас. Действительно, писатель создал не рассказ, а поэму о крушении иллюзий, которыми так часто живет человек, и горько становится, когда они неминуемо разбиваются.

Но поэмой мог бы быть назван и рассказ «Рождение человека». Его Горький относил к лучшему из написанного им.

Известно, что рассказанное в нем – не выдуманно. Автору когда-то самому пришлось выступить в роли акушера, и многие годы спустя он предпринял немалые усилия, чтобы попытаться разыскать человека, тогда появившегося на свет. Ему была интересна его судьба, хотелось узнать, каким он стал.

Фон повествования настраивает на радостный, светлый лад: «каштаны надо мной убраны золотом», «точно в богатом соборе» чувствует себя человек осенью на Кавказе, в «необъятном храме из золота, бирюзы, изумрудов». «Бездумно-красивым» выглядит «этот кусок благодатной земли». Слова благодарности Творцу вырываются из груди. Чувство, возникающее при виде первозданного, поражающего своей красотой мира, выражено с проникновенной силой: «Превосходная должность – быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед красотой!»

Рождение человека в горьковском рассказе – великое чудо, сопровождаемое нестерпимыми муками, – писатель и этого скрывать не хочет. Тем удивительнее улыбка, освещающая лицо матери, недавно еще искаженное мукой, к груди которой впервые прильнул ребенок: «... донельзя прекрасные глаза – святые глаза родительницы – синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная и радостная улыбка».

Могучая сила всепобеждающей жизни утверждается Горьким в рассказе. Автор его хорошо знает, что «порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью, тоска жадно сосет кровь сердца, но это – не навсегда дано». Рассказчик вовсе не идеализирует людей, вместе с которыми работает за скудные гроши, зная: «...это – скучные люди, раздавленные своим горем», изумленные, ослепленные «роскошью незнакомой природы». Но рассказом о рождении человека такие навевающие тоску наблюдения опровергаются: удивительно сильна и прекрасна женщина, которая, родив, тут же продолжает свой путь, уповая лишь на помощь Богородицы. Да и «новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы», едва появившись на свет, «уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет». «Утверждайся, брат, крепче...» – подбадривает его рассказчик.

«Господи, Боженька! Хорошо-то как... хорошо!» – вырывается из груди измученной только что перенесенными страданиями женщины, и воспринимается сказанное ею как словесие миру, в котором жить «на приволье» новому человеку.

...Горькому всегда было ненавистно смирение в человеке, покорность силе внешних условий. Он хорошо знал, как много в жизни всякого рода «свинцовых мерзостей», но был убежден, что из-под «жирного пласта всякой скотской дряни... все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе – человецье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».

И эту надежду он стремился утвердить в читателе, населяя свои произведения характерами сильными, яркими, целеустремленными, убежденный в том, что цель «мятежного Человека» – идти «вперед! и – выше! все – вперед! и – выше!».

А. С. Карпов

Рассказы и сказки



Макар Чудра

С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева – безграничную степь, справа – бесконечное море и прямо против меня – фигуру Макара Чудры, старого цыгана, – он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень¹, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

– Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай – вот и все!

– Жизнь? Иные люди? – продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «Так и надо». – Эге! А тебе что до того? Разве ты сам – не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

– Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее – те ничего не получают, и всякий сам учится...

– Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, – он широко повел рукой на степь. – И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, – дураком.

– Что ж, – он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб – как только родился, всю жизнь раб, и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

– А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди – и все тут. Долго не стой на одном месте – чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

– В тюрьме я сидел, в Галичине². «Зачем я живу на свете?» – помыслил я со скуки, – скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! – и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

¹ Чекмень – верхняя мужская одежда у кавказских народов; суконный полукафтан в талию со сборками сзади (тюрк.).

² Галичина (Галиция) – историческое название части западноукраинских и польских земель (современных Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областей Украины, Жешувского и большей части Краковского воеводств Польши).

– Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем слове. Богу покоряйся, и Он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже – учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучащий – пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

– Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо – не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее – и умерла воля в твоём сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать – нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как запомнишь, – век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его, – удалый был мальчик! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал Богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня – все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сагана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла – это уж как раз!

И все таборы его знали или слышали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго – поедит да и продаст, а деньги кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного – нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

Наш табор кочевал в то время по Буковине³, – это годов десять назад тому. Раз – ночью весенней – сидим мы: я, Данило-солдат, что с Кошутом⁴ воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя – много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает.

Много посушила она сердца молодецких, ого, много! На Мораве⁵ один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, – важный был господарь старый! Смотрел, смотрел да и говорит Радде: „Гей! Поцелуй, кошель денег дам“. А та отвернулась в сторону, да и только! „Прости, коли обидел, взгляни

³ *Буковина* – историческое название территории современной Черновицкой области Украины и области Сучава в Румынии.

⁴ *Кошут* – Лайош Кошут (1820–1849) – выдающийся деятель венгерского национально-освободительного движения, возглавивший борьбу против австрийского господства во время революции 1848–1849 гг.

⁵ *Моравы* – историческая область в Чехии.

хоть поласковой“, – сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель – большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

– Эх, девка! – охнул он да и плетью по коню – только пыль взвилась тучей.

А на другой день снова явился. „Кто ее отец?“ – громом гремит по табору. Данило вышел. „Продай дочь, что хочешь возьми!“ А Данило и скажи ему: „Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутым воевал и ничем не торгую!“ Взревел было тот да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись да и пошли. День идем и два, смотрим – догнал! „Гей вы, говорит, перед Богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: все поделю с вами, богат я сильно!“ Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

– А ну-ка, дочь, говори! – сказал себе в усы Данило.

– Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? – спросила нас Радда.

Засмеялся Данило, и все мы с ним.

– Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи – те податливей. – И пошли мы вперед.

„А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим – музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так – царями над всей землей, сокол!

Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

– Эге, Зобар, да это ты! – крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка – целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

Радда и говорит: „Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?“ А тот смеется: „Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!“

Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но – не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: „А еще говорили, что Зобар умен и ловок, – вот лгут люди!“ – и пошла прочь.

– Эге, красавица, у тебя остры зубы! – сверкнул очами Лойко, слезая с коня. – Здравствуйте, братья! Вот и я к вам!

– Просим гостя! – сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую⁶ понимал. Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал его! А играет – убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком – и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз – и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг – гей! Гроном гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: „В ножи, товарищи!“ – то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли б только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя – изувечат. Так и шло дело.

Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: „Спой, Зобар, песенку, повесели душу!“ Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!

Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей-гоп, гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед?!
Одега степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу-луну!

Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:
– Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь да – в лужу носом, усы запачкаешь, смотри. – Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал – стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда

⁶ Мадьярская грамота – мадьярами называют себя венгры.

В огне стыда сгорим!

– Это песня! – сказал Данило. – Никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

– Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая, – сказала она, точно снегом в нас кинула.

– Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? – потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку да и говорит, весь черный, как земля:

– Стой, Данило! Горячему коню – стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

– Вот сказал речь! – усмехнулся Данило. – Да возьми, коли можешь!

– Добро! – молвил Лойко и говорит Радде: – Ну, девушка, послушай меня немного да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь – я свободный человек и буду жить так, как я хочу! – И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, – вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком – грох!..

Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги да и дернула к себе, – вот отчего упал Лойко.

И снова уж лежит девка не шевелясь да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: „Смотри за ним!“ И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!“

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый силой своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

„Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь – верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется – сидит.

И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно.

Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

Весело мне стало! „Эх, важно! – думаю, – удалая девка Радда!“ Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

– Брось! Голову разобью! – Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

– Слушай! – Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: – Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! – Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я – и всё тут.

– Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! – говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

– Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил – моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабилла. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь? – Тот усмехнулся.

– Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!

– А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени – впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше – петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени, – сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою – и тогда я буду твоей женой.

Вот чего захотела чертова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев⁷ так было, говорили старики, а у цыган – никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь!

Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

– Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко?

– Слышу! Сделаю, – застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть – что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

– Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только – и все тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойко Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? – Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видать, как Лойко Зобар упадет в ноги девке – пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

⁷ Черногорцы – жители Черногории, республики, прежде входившей в состав Югославии.



– Ну! – крикнула Радда Зобару.

– Эге, не торопись, успеешь, надоест еще... – засмеялся он. Точно сталь зазвенела, – засмеялся.

– Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, – простите меня, братцы!

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоятке торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

– Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. – да и умерла...

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

– Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! – на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: „Надо связать его!..“ Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

– Вот так! – повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

Было тут над чем плакать, сокол!

...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, сокол!“

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

– Гоп, гоп, эгей! – крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: – Спать пора! – Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган – Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.»

Старуха Изергиль

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом⁸, в Бессарабии⁹, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развеивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто¹⁰, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут – мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там – резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестя темнотой голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это – звуки и запахи, тучи и люди – было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

– Что ты не пошел с ними? – кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

– Не хочу, – ответил я ей.

– У!., стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

– Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер, – она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

⁸ Аккерман – до 1944 г. так назывался город Белгород-Днестровский в Одесской области на берегу Днестровского лимана.

⁹ Бессарабия – историческая область между реками Днестром и Прутом, ныне основная часть территории Молдавии и южная часть Одесской области.

¹⁰ Контральто – низкий женский голос.

– Никого нет там! – сказал я.

– Ты слеп больше меня, старухи. Смотри – вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

– Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

– Потому что это – он. Он уже стал теперь как тень, – пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать Бог с человеком за гордость!..

– Расскажи мне, как это было! – попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку. «Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но – не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...»

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их – он не хочет делать этого. О!., тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

– Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда хочет. Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, – к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, – впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, – не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же – слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала

и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошаадьми – и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много – и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

– Спросим его, почему он сделал это? Спросили его об этом. Он сказал:

– Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

А когда развязали его, он спросил:

– Что вам нужно? – спросил так, точно они были рабы...

– Ты слышал... – сказал мудрец.

– Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

– Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно, ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

– Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, – что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

– Но она не твоя! – сказали ему.

– Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда – жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидели это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, – тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

– Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему – в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, – хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, – юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его – не был человеком... А этот – был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек – все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго – не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

– Не троньте его! Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож – точно в камень

ударил им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

– Он не может умереть! – с радостью сказали люди.

И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел – высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. И все ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, – странно запели. Сначала раздался контральто, – он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый все лился впереди его... – третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

– Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? – спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

– Не слышал. Никогда не слышал...

– И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, – красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже – поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот – поют.

– Но здоровье... – начал было я.

– Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье – то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила – хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

– Я жила с матерью под Фальчи, на самом берегу Бырлада; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубашке и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня дала уже и всю себя...

Мы все катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута¹¹, и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу¹² и дальше, в дунайские гирла¹³. Но мне уж не нравился он тогда – только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы¹⁴ шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем – весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, – и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые – легко же ведь доставалось все им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий – и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь да и впиалась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

– А рыбак куда девался? – спросил я.

– Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом – ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе – и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

– Это ты сделала? – наудачу спросил я.

– Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, – задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возрастающим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

¹¹ *Прут* – левый приток Дуная, служит границей между Молдавией и Румынией.

¹² *Добруджа* – историческая область в Европе между нижним течением Дуная и побережьем Черного моря, входит в состав Румынии и Болгарии.

¹³ *Гирла* (гирло) – местное название рукавов или протоков в дельтах крупных рек, впадающих в Черное и Азовское моря.

¹⁴ *Гуцулы* – этнографическая группа украинцев, живущих в *Карпатах* (так называется горная система, протянувшаяся по территории Словакии, Польши, Венгрии, Украины и Румынии).

– А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари¹⁵. Целую неделю жила, – ничего... Но скучно стало... – все женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил – как владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидела... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» – говорит. «О да, поеду!» – «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был – черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего – уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из монастыря другого – около Арцер-Паланки, помню, – ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, все извивался предо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

– Погоди!.. А где маленький турок?

– Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох все... Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь... И все просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала... Потом уж он совсем стал плох – не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он – что же?.. Мальчик!..

Она вздохнула и – первый раз я видел это у нее – перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

– Ну, отправилась ты в Польшу... – подсказал я ей.

– Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то шелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, – он был маленький, – подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним чернотелый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист¹⁶ и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк,

¹⁵ Скутари, Букурешти (Бухарест) – города в Румынии.

¹⁶ Фаталист, фатализм – представление о неотвратимой предопределенности событий в мире; вера в безличную судьбу, предопределяющую все в жизни человека.

галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они – только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, – тоже почти тень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.